

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

ДВА РАССКАЗА

ДОРОГА на перекладных от Москвы до Ставрополя неожиданно для него оказалась легкой и развлекательной, особенно с того часа, когда где-то за Орлом догнал его Монго-Столыпин. Вдвоем путешественники и гуляли изрядно в трактирах, и в карты беспечно резались со степными олухами-помещиками, и с едущими по казенной надобности офицерами вроде них, и податливых на уговоры солдаток встречали порою в широко раскинувшихся, по-весен-

но прекрасное, что случилось в тот яркий, до рези в глазах, майский день.

Еще одно происшествие того дня врезалось ему в память. На несколько считанных минут остался он в беседе с глазу на глаз с Гоголем. Гоголь положил ему на плечи узкие сухие руки, придвинул и его лицу свое с упавшим на лоб русым хохлом и зашептал доверчиво и быстро:

— Знаешь ли ты, брат, что во мне с некоторых пор поселился черт? Да и не из мелкой ихней братии, а весьма чиновный, вроде нашего действительно-государственного... Ну, да его раскусил!

Гоголь засмеялся, снял руки с его плеч, огляделся, словно понюхал воздух за дверью беседки, и зашептал еще тише и быстрее:

— Не то что раскусил, но и укротил

ДЕМОН

нему приветливых селлах с палисадниками около новых крытых железом изб, с раскидистыми вербами и крепко, по-спиритному пахнувшей сиренью.

Однако и тоска его росла! Правда, ужасную шинель из толстого сукна, сидевшую на нем колом, разжалованный гвардеец скинул с плеч еще задолго до Москвы, в Вышнем Волочке, но и шинель, и разжалование, и новая ссылка — все это было еще с полбеды.

Тосковал же он по Москве, вспоминая пестроту и веселость, значительность и нелепость новых встреч и знакомств.

Вспоминал тенистый графский сад на Разгуляе, множество гостей в том саду 9 мая по случаю именин Гоголя, с которым он впервые встретился. Именинник был грустно внимателен к нему, особенно после чтения отрывка: встречи мальчика с барством. Вспоминал восклицания присутствующих, вызванные его чтением, — помосковски щедрые, многословные, книжно витиеватые суждения, слезы Самарина, раскатистый хохот Хомякова, который гут же объявлял его надеждой России и в доказательство пустился чуть ли не вприсядку на потеху обществу, — и все остальное, бестоящее,

канально. В скором времени узнаешь о том, когда прочтешь книгу. Пишу ее по завещанию Александра Сергеевича. Это поэма, даром что в прозе. Называется «Мертвые души». Там обо всех нас, современных русских, узнаешь много нового.

Гоголь хитро мигнул ему, впился в него пронзительно и продолжал:

— А ведь и у тебя, Михаил Юрьевич, собственный Демон завелся, от меня не скроешь. Тоже небось в немалых чинах, может, посадовней моего, что скажешь?

Вспоминая об этом разговоре, Лермонтов каялся, что в ответ на странную речь кивнул утвердительно, словно бы согласился с Гоголем. На самом же деле он нарочно сунул рукопись проклятой поэмы на самое дно чемодана, четырежды схваченного ремнями. Он решил не вспоминать о ней до времени, до Кавказа.

Но что же было вспоминать ему, как не последнюю московскую ночь у графини Распопчиной, как не влюбиться было в эту женщину по гусарскому обычаю... но гут связь мыслей обрывалась, — надо было обойти стороной, обогнуть темный угол памяти и зато отчетливо увидеть их прощание на лю-

дах, шампанское на крыльце растопчинского дома, ненастный рассвет, круглого площадку, заросшую молодой травкой, снова услышать дребезжание бубенцов на дугах тройки... и пошла рыбать в глазах многоворотная подмосковная даль и близки, Воронцово, Кольково с белым обелиском — памятником коню, павшему еще в двенадцатом году, Теплый Стан и Красную Пахру, первый ночлег после Москвы.

Но и с той поры миновало уже много дней и ночей, Орел и Харьков давно позади.

Странна его память. Никогда ничего не забывает он. Прошлое — давнее и недавнее одинаково — теснилось перед ним и смешивалось с мимо текущим настоящим. В их тесном соседстве не хватало одного — будущего. Да и то сказать, он и его предвидел с юных лет.

В Ставрополе впервые пахло ему в лицо блаженным полуденным зноем и степным приволем. Отмахнувшись от тоски по Москве, он сразу повеселел, подтянулся по-военному, обыграл на бильярде случайных игроков. А едва лишь обозначилась на ранней заре дымно-синяя гряда ледяных громад, а за нею померещились ему еще и не видимые Казбек и Шат-гора — Эльбрус, путешественник впервые не только за эту дорогу, но и за последние полтора года вздохнул полной грудью и сказал про себя:

— Прощай, Москва, прощай, Питер, прощай, черт гоголевский, здравствуй, Демон, давно я не вспоминал тебя!

В тот же вечер приказал он денщику Андрею Соколову развязать туго схваченный ремнями чемодан, зажечь семь салных свечей в медном шандале и углубился в рукопись, мучившую его с пятнадцати лет. Это происходило в крепости Георгиевской. Только что убеждал он Монго не останавливаться тут, а сразу же спешить к месту назначения, но внезапно хлынул дождь и пришлось заночевать в крепости. В крохотной комнатенке на шатавшейся под ним и скрипевшей койке он так и не заснул до утра.

Когда же за окошцем забрезжило подобие зари, он увидел прямо против себя Демона. Если бы он был настоя-

щим художником, а не любителем, он и сам написал точно такого.

Демон обнимал смуглыми ручищами колени, скрытые в складках синего плаща, на лоб ему упали крутые завитки иссян-черных волос, плечи отливали блеском тысячелетней ржавой брони, а за плечами качались странные дымные цветы, никогда не расцветающие на земле. Демон смотрел влево и, как казалось восхищенному Лермонтову, смотрел с тайной надеждой на утраченное им навсегда счастье.

Снова раздался этот знакомый голос, певучий, как виолончельные струны, и в то же время заглушающий раскатами горной грозы колокола всех церковных колоколен и пушечные залпы всех крепостей.

— Здравствуй, — сказал гость, — видишь, как только ты вспомнил обо мне, я тут как тут.

— Как всегда, — отвечал хозяин, — сам знаешь, в Питере вспомнить тебя не приходится.

— Еще бы не знать, — и запекшиеся каменные губы Демона зазмеились подобием каменной улыбки. — Вот уже более ста лет прошло, а по-прежнему не мила мне ваша столица. Булыжник и гранит плавятся под моими шагами, пожарные каланчи гнутся в три погибели от моего дыхания.

— Не знаешь ли ты, надолго ли я изгнан из этого рая?

Демон помрачнел и отвечал презрительно:

— И знать не хочу. Не люблю играть в орла или решку. Для меня все ваши сроки равны мгновению, одна только вечность кое-как длится еще, туда ей и дорога!

— Здорово сказано, — Лермонтов беспечно рассмеялся, и Демон охотно присоединился к нему раскатами своей грозы. Лермонтов вздохнул и сказал:

— Я хочу быть таким, как ты, с самого детства мечтаю, да не выходит.

— Кажется, что не выходит, я и сам целиком вышел из тебя.

— Ой ли, сочиняешь не хуже сочинителя!

— Клянусь честным словом гусара, целиком из тебя. Знаешь почему? Запомни. Ты не слуга у времени, не раб, а царь и существуешь в обгон времени. Это серьезное дело. По молодости лет

ты еще не понял, насколько оно серьезно, но будь спокоен, другие поймут за тебя. Не скоро поймут, им еще надо родиться.

Лермонтов задумался и грустно ответил:

— По правде, я догадывался о чем-то вроде этого, только совестно было признаться даже самому себе. Спасибо тебе на добром слове.

— Спасибо и тебе, что складываешь сказку обо мне.

— Что же делать с нею дальше?

— На время отложи. Начни другую, тоже обо мне, но для детей — помягче и посмешнее.

— Это мысль, черт возьми!

Демон процедил сквозь зубы:

— Насчет черта потише! Не забывай, с кем разговариваешь!

— Прости, это обмолвка. Но ведь с тобою смешная сказка не получится, придется писать не тебя, а гоголевского полуночника.

— Я от гоголевского не так уж далек.

Между тем Демон уже несколько потускнел, очертания его расплывались, но Лермонтов не замечал перемены, сказал грустно:

— Сегодня к полудню буду опять в армии, в отряде, моя военная карьера продолжается.

— А ты махни отсюда в Пятигорск, — раздался издалека раскат демонской грозы.

— Зачем, — усмехнулся поручик Теугинского пехотного полка, — от гибели я не бегу.

— Гибели нет для тебя, — загремела гроза.

— Есть, и еще какая! — Лермонтов беспечно рассмеялся и соскочил с койки.

Побрившись и кинув на плечи белый халат, Лермонтов вышел в общую комнату и, еще не зная, что сейчас скажет, предложил Столыпину:

— Давай, Монго, махнем сначала в Пятигорск — всего сорок верст!

Столыпин отвечал спокойно и рассудительно:

— Да в уме ли ты, Мишель, протри глаза и вчитайся внимательней в инструкцию и в подорожную. Нынче же я доставлю тебя в отряд.

— Слушай, вот полтинник — сыгра-

ем в орла и решку. Орел — твоя взяла, и айда в отряд. Решка — в Пятигорск. Соглашайся! Вспомни: пять лет назад, туман над болотом и вот дорогой столбовой летят, склонившись над лукой, два всадника лихим полетом...

Монго вздохнул, мрачно посмотрел в глаза другу и кивнул головою. Полтинник упал к его ногам решкою вверх.

Случайный попутчик, ремонтёр улан, пригласил их в свою коляску. Они расстались не без удобства и двинулись в недалёкую дорогу. С места в карьер хлестнуло их косым свирепым ливнем, который не прекращался до Пятигорска. Всю дорогу Лермонтов ругал на чем свет военное начальство, многих лиц и повыше, добрался до великих князей и до самого царя. Улан хоть и смотрел на него восторженно, однако потихоньку крестил жилетные пуговицы под мундиром. Дорогу сильно развезло, колеса грязли по ступицы в глинистых колеях. Отчаянно гикая, били все трое по конским бокам и

вместе с ямщиком раз шесть выручали коляску из аварии, на что уходило немалое время. Так что в Пятигорск добрались только в сумерках, промокшие до костей и злые друг на друга.

Ночевали в гостинице, а поутру Лермонтов узнал у хозяина-армянина, что в соседнем с ним номере уже с неделю поселился давний товарищ по юнкерской школе Николай Мартынов — Мартышка. Он обрадовался предстоящей встрече, потому что молодая жизнь была в нем ключом и обдавала с головы до ног брызгами белой пены.

О Демоне он забыл совершенно.

В Москве на Девичьем поле, в лечебнице для умалишенных, в аккуратно прибранной и чисто выбеленной палате с одной койкой в ясное июньское утро проснулся тщедушный человек с воспаленными докрасна и почти ослепшими глазами — так долго и так пристально всматривался он в красоту живых лиц

и мертвых вещей, выпытывая их тайную правду.

Он ликёвал, потому что наконец-то вспомнил давным-давно читанное четверостишие любимого поэта:

*Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно,
Пространство без границ, течение века
Объемлет в краткий миг оно.*

Еще больше ликёвал он, потому что эти строки помогли ему обмануть не только бдительную сиделку, но и время, найти по звездам дорогу и сквозь пространство без границ послать любимому поэту давно обещанный подарок.

Это было изображение их общего знакомого. Он охватил руками свои колени, плечи его отливали тусклой тысячелетней бронзой и отблесками вечной правды, ведомой только им двоим.

Врубель знал, что его подарок дошел по назначению.